

СЮЖЕТЫ И ЛИЦА

Приглашаем на работу профессиональных рекламных агентов. Тел.: 208-85-00, 208-98-36.

В КАЧЕСТВЕ убийственного примера совершенно неизъяснимой, отвратительной (быть может, просто издевательской) лживости Гоголя крупнейший историк отечественной изящной словесности, автор торжественных, многоразных переизданных хрестоматий по русской литературе, профессор Алексей Галахов (1807-1892) приводит следующий случай, рассказанный ему П.М.Щепкиным, сыном великого актера. Осенью 1848 года Гоголь жил в Москве у Погодина. Он еще не переехал к А.П.Толстому на Никитский бульвар в дом Талызина, давно уж наместившись ангелом Азраилем для сокровенной встречи (ранним утром в четверг 21 февраля 1852 года) с тем весьма непоследовательным сочинителем, который недвижимым стенам предписывал колесу, вагон, ланцолет и которого к месту могло приводить только "тяжелое расстройство нервного", наконец-таки охватившее его в полную силу в талызинском доме. В доме же Погодина — на предпоследней московской станции — путешественник еще азартно перебрал лошадей, выискивая самых свежих и статных, промышляя все ж таки доскакать до светозарной точки — до окончания второго тома "Мертвых душ", жадно ожидаемого литературной общественностью, которая мягко, сердечно, с той задушевной бесцеремонностью, что свойственна обожателям таланта, поторавливала сочинителя, не ведая о том, какая сила, какое искрометное божество должно было слететь к нему, чтоб он мгновенно уверовал в невозможное, в немислимое, в совершенно невероятное. Или, точнее, в то, что такому казалось минутой назад...

Гоголь сам не знал, как называть это таинственное божество, которое устранило перед ним иллюзию незавершенности, внушая сначала ему, сочинителю, а затем и какому-нибудь будущему, бесконечно взыскательному читателю, каким, скажем, считался граф Лев Толстой, удивительно прочную веру в законченность явно незавершенного сочинения. Но Гоголь, кажется, всегда отдавал себе отчет в том, что только оно, "недоступное земле Божество", "жизнь души моей", "хранитель", "ангел", "мой гений" ("О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений!"), — только оно давало ему способность заставить некую точку излучать особенный свет... некую — любую — точку, незатейливый знак препинания, знаменующий собою (по воле божества) уже не препинание, а вдохновенное молчание, окончание, завершенность...

ТАК, его поторавливали, его наведали. Навещавшие ласково спрашивали, над какою именно главою вождя деленного второго тома "Мертвых душ" он теперь изволит работать, а главное, как она, эта "необходимая Отечеству" работа, продвигается и далеко ли до выхода в свет заведомо блистательной книги. Гоголь не лгал. Он отвечал, что работа продвигается из рук во плохо, что "иное слово приходится вытягивать клещами" — откуда? Оттуда же, откуда



вытянуты были клещами слова "Портрета", "Коляска", "Носа", — оттуда, где гаятся в строгом и стройном порядке все тексты, когда-либо написанные, пишущиеся и предназначенные написанию — "проявлению", как сказали бы те многоумные риши, которые на санскрите назвали это незримое "оттуда" "Авьякта Парвой" — "Непроявленной Книгой", единственно законченной и совершенной Книгой, частично известной ныне живущим по некоторым разрозненным, неясным, до поры бессвязным фрагментам: "Нос", "Одиссея"... "Искусство кулинарии"... "Закат Европы"... "Авеста"... "Справочник пчеловода"... "Махабхарата"... Гоголь не лгал и относительно сроков окончания книги.

Еще в 1843 году, когда с написанием второго тома "Мертвых душ" его назойливо поторавливал друг-литератор Степан Шевырев, предельски поместивший в своем "Москвитянин" обильное уведомление о полном окончании поэмы,

якобы уже готовой к печати, Гоголь, с трудом облекая неудержимое чувство гнева в благородно-учтивые и назидательные рассудительные слова, нечаянно приоткрыл Шевыреву свою давнюю тайну: "Иногда слышу внутреннею глазу и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга", — признался он заботливому понукателю в письме из Рима от 28 февраля (н.ст.). И тут же, как бы виновато, добавил: "Не осуждай меня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, перед которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души в минуты слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!"

Тогда, в феврале 1843 года, Гоголь ощущал, что божество сияющей точки, призванное слезами и молитвами, явится к нему через два года. "И не раньше! — настаивал он. — Даже если предположить беспрепятственную и ничем не останавливаемую работу", ибо продвижения нет никакого дела до того, как продвигается работа —

Лит. газета. — 1895. — 25 янв. — с. 6.

Владислав ОТРОШЕНКО "Авьякта Парва" Тайна последней точки в творениях Гоголя

оно явится в некую фантастическую минуту, и сочинителю "почувствуется глубиною души", что работа, даже если она совершенно никак не продвигалась, блестяще закончена.

О двух же годах он толковал и спустя полгода другому любезному понукателю, гимназическому товарищу, поэту Николаю Прокоповичу, урезывая его гораздо более резко, чем Шевырева: "Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого!" Того, что от Гоголя, лично от Гоголя "меньше всего можно требовать скорости". Что же касается божества, то оно вышло Гоголю отписать из Мюнхена простодушному Прокоповичу: "Мертвых душ" не только не пригнотвлен второй том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет не может выйти в свет", а среди причин медлительности покорно назвав равнодушной скороговоркой ту, что стала уже привычной для публики: "терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков".

Через два года нечто, называемое теперь литературоведами "первоначальной редакцией второго тома "Мертвых душ", действительно было написано, но в свет не вышло, а вышло в источник света — в огонь. Божество обмануло. Или "голос, повелевающий нам" был рассыпан Гоголем недостаточно ясно. Так или иначе долгожданная точка не просияла ни в рукописи, ни в воображении Гоголя (что равнозначно), ни в вероломном огне, соблазнившем доверчивого сочинителя лживым посулом исторгнуть в воздух летучей искрой эту вечно искомую точку.

И посему работа продолжалась. Она продолжалась и в 1848 году, когда Гоголь жил в Москве у Погодина. Во всяком случае всем, навещавшим его в погодинском доме, в том числе и сыну великого актера Щепкина, Гоголь, по словам Алексея Галахова, твердил одно и то же — что он трудится над вторым томом "Мертвых душ". Однако сроки окончания труда он называл теперь разные, иногда совершенно фантастические. Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, кажется, обстоятельнее других вникал во все тонкости и особенности гоголевского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственное "как" и мало интересуюсь всем известным "что", напоминает "довольно сбивчивый разговор", в котором Гоголь, "то оживляясь и жельно браня дружублук, то вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное бесчувствие" требовал дать ему аж 25 лет на отделку второго тома "Мертвых душ" — на проявление одного из самых неподатливых фрагментов "Авьякта Парвы". Впрочем, Бергу этот нешуточный срок ("Прямо-таки каторжный срок", — замечает он) вовсе не казался фантастическим.

Как и многие друзья-современники Гоголя, Берг (Бергу это можно без оглядки простить, ибо он искренне, совершенно искренне хотел знать даже то, на какого

сорта и формата бумаге и в особенности какими чернилами — "орешковыми, с бронзовой искоркой!" — пишет скрытый Николай Васильевич) никогда не упускал случая тайком заглянуть в рабочую рукопись Гоголя. И как многие, Берг с удивлением обнаруживал, что Гоголь "вовсе даже и не рисуется", говоря то с веселой дозой, то с беспомощным сожалением о тех незримых, метафизического происхождения клещах, которыми ему приходится "вытягивать" ("из сумрачной области не проявленного в область яснопламенного Агни, в область земного света", — как пели вдохновенные риши) слова, предложения, периоды, многоточия и перлодобные точки.

Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особым постоянством твердил осенью 1848 года — Погодину, Шевыреву, отцу и сыну Щепкиным, Бергу, — застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней "Авьякта Парвой" и долей рукописью, усыпанной шариками скаптанного хлеба и измаранной орешковыми

В А, В ТОТ ДЕНЬ, 14 декабря 1848 года, как раз в тот день, когда в дом Погодина нанес свой второй визит простодушный любознательник и подглядчик Берг, Гоголь, по сведениям Галахова, изложившим в февральской книжке "Историческое Вестника" за 1892 год, объявил Щепкину-младшему о полном и окончательном завершении работы над вторым томом "Мертвых душ", а стало быть, и над всей поэмой, наконец-таки озаренной, точно украинская "вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь", сиятельно полною луною, — таинственным божеством всезавершающей точки.

Нет нужды говорить о том, в какой бурный восторг повергло Щепкина это знаменательное объявление. "Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс", — пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительность свершившегося для России, современников и будущих поколений, Щепкин помпунуто "и на все лады" поздравлял автора, кланялся ему в пояс от



имени всех соотечественников; говорил речи; обнимал бесценного Николая Васильевича, целовал его, хватал его за руки, пытался кружить его в вальсе; охая, падал на диван и снова вскакивал, чтоб целовать, поздравлять, кланяться и кружить. Щепкин просто сходил с ума. Гоголь же на все эти пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных дружеских чувств отвечал виновато-счастливой улыбкой творца, в трудах заслужившего обременительную признательность. Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставаясь все в том же расположении духа, в каком застал его около часу назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провозжая того к дверям своей комнаты: "Ты где сегодня обедаешь?" Щепкин ответил, что обедают он собирався у Аксаковых, но в силу открывшихся ему только что столь значительных обстоятельств... "Прекрасно, я обедаю там же", — прервал его Гоголь и, много теплее обычного прощившись с Щепкиным, направился к своему письменному столу и уже у самого стола, не оглядываясь, добавил: "Там все сойдемся и поговоримся".

Легко представить, с какими волнительными нетерпением, с какими трепетными мыслями, искретенными тостами и сбивчивыми речами в кружащейся голове мчался на этот обед у Аксаковых нечаянно ослепленный Щепкин — в тот час единственный на всю Россию обладатель долго-, настойчиво- и томительножданной вести: "Мертвые души" написаны!

ТОРАЗДО труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхнули в дружески преданном Гоголю сердце Щепкина-младшего во время той драматической — а если уж не избежать здесь давно наирашивавшейся риторики, то самой драматической и значительной во всей истории русской литературы — сцены за обедом в доме Аксаковых, которой следовало бы отвести страницы во всех прошлых и будущих хрестоматиях и которую автор хрестоматий Галахов описал очень скупо, — увы, очень скупо, не вдаваясь в столь важные для нас подробности (измышленные же их выводит за рамки жанра). Впрочем, по Галахову, и без подробностей все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляющей и отвратительной всякая ложь. Как только гости, шумно наполнившие дом Аксаковых, расселись за длинным столом и, как водится, на мгновение поутулились, Щепкин поднялся, обвел все многозначительным взглядом и торжественно возгласил: "Господа! Поздравьте Николая Васильевича. Он окончил вторую часть "Мертвых душ"! Если бы всеобщая трепетная и немая неподвижность, водрывившаяся после этих слов, продолжалась более трех-четыре секунд, Гоголь бы уже никто не расслышал (да и слушать бы вовсе не стал) в грое аплодисментов и поздравлений.

Но Гоголь успел.

Он вдруг вскочил и, сдернув с груди салфетку (на этот пылкий жест гнева тоже ведь потребовалось время), быстро воскликнул: "Что за вздор!" А мгновение спустя, когда можно было уже позволить себе зловещую неторопливость, Гоголь, дуэлянтски медленно поднимая над столом и нацелив в грудь Щепкина руку с салфеткой, грозно и требовательно произнес: "От кого ты это слышал?" Щепкин, беспомощно опускаясь на стул и еще не веря в случившееся, как не хочет верить сновидец в свою неожиданную и беспричинную наготу на публике, со слабой надеждой пролепетал: "Да от вас же самих; сегодня утром вы мне сказали". Но Гоголь тут же рассеял всякую надежду, а заодно и конфуз, возникший в рядах многочисленных соплеменников: "Что ты, любезный, перекрестись", — ответил он, уже смягчаясь и предвывая миролюбивой улыбкой всеобщий облегченный смех, — ты, верно, белены объелся или видел во сне".

В ЕТ, КОНЕЧНО ЖЕ, Щепкину не пригрезился его утренний визит к Николаю Васильевичу. И слышал он об окончании поэмы от него, от Гоголя. Но совершенно от другого Гоголя. Не от того жуликоватого, вздорного и изворотливого Гоголя, которому адресует свое негодующее изумление Алексей Галахов: "Спрашивается: чего ради солгал человек?" — а от того неспостыжимого нечеловека Гоголя, которому возвышенно лгало как равному само божество.

К этому ускользающему (не изворотливому), призрачному Гоголю мы можем приблизиться, вернувшись на полчаса назад — к тому фееричному моменту, когда Гоголь, распрощавшись с Щепкиным и договорившись с ним о встрече на обеде у Аксаковых, подошел к своему письменному столу, чтоб еще раз окинуть торжественно-строгим взглядом вдохновенное окончание поэмы. Мы можем приблизиться. Но уже никакие детали — реальные или вымышленные — не помогут нам сколь-нибудь ясно представить (как это было в случае с бедным, попросту опозоренным Щепкиным), какие чувства испытывал Гоголь, когда он вдруг обнаружил или, лучше сказать, увидел "силу внутреннего глаза", что последняя точка поэмы, так прочно ему воображавшаяся, так ярко сверкавшая ему все утро немигающей, чистой звездой, меркнет, угасает, тает, превращается неуловимо в едва различимый фантом, — какие молитвы, заклятия и слезы исторгло его сердце, когда из его цепкого воображения безадежно ускользал и этот бледный фантом сиятельной точки, и в какое "стеклянное бесчувствие" он погружился, когда божественная точка улетучилась совершенно, оставив ему в наместку лишь свой обескровленный облик — будничныи знак препинания...

Не пытаясь проникнуть в эти недоступные нам чувства "лживого" сочинителя и не вступая в безответную дискуссию с давно покойным Галаховым относительно природы этой "лживости", мы можем с достаточной степенью определенности сказать лишь одно: через некоторое время после ухода Щепкина из погодинского дома, где он так бурно праздновал вместе с Гоголем окончание поэмы, последней точки уже не было во всепобеждающем и всевнушающем воображении Гоголя, а значит, ее не было ни где.

Да, она горела недолго на небосводе гоголевского воображения, эта странная, мощная, но нежизнеспособная звезда. Берг объявился у Гоголя часа через два после ухода Щепкина. И судя по тому, в каком состоянии застал он Гоголя, говорившего теперь о "каторжном сроке" и изливавшего желчь на публику-дуру, катастрофа к этому моменту уже случилась. Но как бы там ни было, нам известны границы того периода, во время которого поэма "Мертвые души" пребывала в состоянии абсолютной и безусловной, т.е. объективной завершенности, субъективно отразившейся в душе ее творца, по какой-то причине не удержавшего поэму в этом желательном состоянии. Начиная с утренних часов 14 декабря 1848 года — до и во время визита Щепкина — и кончая "приблизительно двумя часами пополудни", когда о своем приходе велел доложить господин Берг, Гоголь обладал возможностью и способностью представить для чтения или самолично (что было для него более характерно) прочитать по рукописи окончанный второй том "Мертвых душ" любому, кто бы этого пожелал. После же этого периода поэма, увы, приобрела такое состояние, что работа должна была продолжаться.

И она продолжалась. С этого же места, с того же предложения... Только Бергу поспостылилось видеть это последнее (теперь уж мнимое последнее) предложение временно проявившейся поэмы — эту опустевшую раковину, уже лишенную жемчужины, но еще сохранившую следы пребывания того светозарного божества, которое не раз даровало Гоголю неизъяснимую силу мгновенно и целиком проявить любой из фрагментов "Авьякта

Парвы", на какой бы стадии проявления он ни находился.

Гоголь верил в это божество самозабвенно. Лишь однажды, уже вообразив совершенно законченной мучительно застревавшую на каждом шагу и на каждом шаге шагу беспримерно блистательную "Коляску", Гоголь усомнился в своем божестве. По утверждению Александра Данилевского, ближайшего друга Гоголя, в рукописи "Коляска" он доподлинно видел написанные следы за финальным — теперь финальным — предложением ("Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами") слова: "На следующее утро Чертокутский, одетый в какой-то неслыханный крой фрак, унылостью цвета превосходивший его лицо..." Это в виду вполне естественное, — ибо "Коляска" по всем приметам находилась на полпути, — с виду очень трезвое продолжение повести Гоголь решительно зачеркнул.

Однако приметливое божество не оставило без внимания этот краткий припадок предательской трезвоты. Хотя и не в полную силу — не так беспощадно, как в случае с "Мертвыми душами" — оно отомстило Гоголю за минуту неверия. Известно, что Н.С.Гихонравов, редактировавший двенадцатое марксовское издание сочинений Гоголя, упорно, "как бы находясь в расстроеном здравии", вспоминает его коллега, корректор С.М.Яшенина, настаивал поместить "Коляску" в раздел незаконченных сочинений, включенных им в первый том. В 1902 г. приват-доцент Киевского университета А.В.Чаговец, читая студентам лекции о Гоголе (опубликованные в том же году в Киеве), сопричислил "Коляску" к "досадно недописанным повестям малоросского гения". Годом раньше в Таганроге издатель Е.С.Жарко, выпустивший не востребованную для каких целей "Полное собрание неоконченных сочинений Н.В.Гоголя", включил в него — быть может, в силу своей общей странности как издателя — и "Коляску".

Впрочем, какая бы странность ни стояла за этими случаями, в определенное время их набирается достаточно много, чтобы сказать, что мнение о незаконченности "Коляски" чаще всего возникло в конце и начале века. Последняя точка в "Коляске" навсегда осталась мерцающей, периодической. И наиболее тускло она светила, иногда совсем пропадая, на рубеже веков. Лишь Льву Толстому она виделась в это время ярко, как никому. "Самое прекрасное для меня, — делился граф с Душаном Петровичем Макавицием, прилежным гением "Яснополянских записок", — это "Коляска", велица, нет ничего лишнего, закончено все..."

Нет никаких сомнений, что и поэма "Мертвые души" представлялась бы Льву Толстому, а вместе с ним и всем читателям проявленных фрагментов "Авьякта Парвы", абсолютно законченной, если бы вера в законченность нечаянно не улетучилась из души самого Николая Васильевича, из его нетленной души, вечно поддерживающей в состоянии проявленного и завершенного каждое из его творений, когда-либо вообразившееся ему таковым. Сохрани он — хотя бы еще на несколько



часов, хотя бы до обеда у Аксаковых — эту пылкую веру в последнюю точку, репшись он на высшее изъяснение преданности своему божеству, то есть — на утверждение неореального, невозможного, воображаемого перед лицом реальных публичных чествований, благодарное божество, именно этого и ожидавшее от своего сообщника, уже не посмело бы удалиться из того чудотворного предложения, о котором нам, стараниями Берга, известно, увы, только следующее:

"Вначале достаточно ясно читавшееся, оно затем почти совершенно исчезло в прилепленных к нему необразимым манером приписках, вставках, помарках, зачехленных перечеркиваниях, — в целой буре неопиcуемых знаков какой-то фантастической, никому не ведомой корректуры, и прочих неизъяснимых символов, среди которых выделялся, как бы ни к чему околному не относился, некий особый круг, или, быть может, густо намалеванная, величаво с жемчужину, точка".